

ПОДОКОННИК (ориентировочно с 11 лет)

Александра Хоменок

lawsa@yandex.by

В одиннадцать лет ты знаешь о смерти столько же, сколько о жизни, то есть *ни-че-го*. И если тебе повезло, ты видела мертвыми соседского кота, хомяка одноклассника или свою бабушку. К последней тебя подвели лишь на минуту, чтобы традицию соблности. И даже не заставляли брать ее за руку или целовать в прозрачную щеку. В общем, это не считается. Если не повезло, поздравляю, ты — Катя, то есть я.

Зима. Сразу после зимних каникул я ни с того ни с сего еду в лагерь. И еще более неожиданно возвращаюсь оттуда в середине смены. За мной приезжает дядя Женя, водитель с маминой работы, и так по-взрослому говорит об острой необходимости, искреннем сочувствии и что "все к лучшему". На въезде в город притормаживаем у цветочного киоска. Не заглушив двигатель, дядя Женя бежит к сверкающему вагончику и через минуту возвращается с букетом красных роз.

— Какие красивые! А для кого это? — спрашиваю я.

— Это для твоей мамы, — отвечает он и кладет их на пассажирское сиденье.

— Ааа, — протягиваю понятиливо, точно зная, что день рождения у нее только через три с половиной месяца.

На всякий случай сверяюсь с календариком и нисколько не удивляюсь своей правоте. Пересчитываю бутоны — сорок штук... Сплюсцовываюсь до размера теннисного мяча и провожу остаток дороги зарывшись лицом в ладони.

Шестой этаж. Идем пешком. На пятом встречаем женщину с черной повязкой на голове. Она оставляет мне свой уставший взгляд и, прикрывая рот рукой, ускоряет шаг. Дверь в квартиру открыта. Трое мужчин выпивают прямо на площадке. Люди, которых я не знаю, смотрят на меня с жалостью.

"Не того жалеете, уважаемые. Лучше бы обувь сняли".

Цветы занимают отведенное им место у маминых ног, я — на табуретке у ее головы. Все. Скукоживаюсь до размера дырочек в ее ушах. А в них такие скромные сережки...

Весна. Когда полы вымыты, а зеркала протерты, кажется, что вокруг ничего не изменилось. Веник, тапочки, черпак, кастрюли, пуговицы, бигуди, спички, диапроектор — все на своих местах. В квартире, оказывается, так просторно, а я все равно теряюсь в

тесноте комнат. Потолок подпирает макушку. Одна отдушина — окно в детской. Виден лесок, где теперь мама, и серое здание исполкома, где ее фотография на доске почета висела, сколько себя помню. Но окно, как нарочно, закупорено. В зазорах между рамой и створками мои старые носки, дырявые капроновые колготки, порванные на куски простыни. Все это замуровано под двумя слоями бумажного скотча.

Лето. Я под присмотром тети Светы и ее второго мужа. Детей у них нет. Со мной им, наверное, повезло. Я заботливо поливаю кактусы и фиалки, которые мама пересаживала в прошлом году. Мне нравится щупать шершавые листки, насаживать на иголки пальцы, отрывать и выдергивать. Я отмечаю в блокноте, когда и что цветет и отцветает, высыхает и гниет. Фиалка с фиолетовыми цветками — моя любимая. Ее я заливаю до краев. Подоконник сплошь заставлен этими лакированными зелеными вазонами — такие есть почти у всех моих друзей. Точнее, были. Точнее, бывших друзей. Теперь в классе и во дворе я нонграта, потому что сирота. И цветы тоже сироты, потому что я не хозяйка им, а так, опекун.

Осень. Написала письмо Богу. Рассказала о себе, спросила о вечном, пожаловалась на бытовое, попросила необходимое. Через месяц, к первому снегу, нашла ответ в хрустальной салатнице.

"Дорогая Катенька! Очень рад, что ты написала. Пожелания твои мне понятны, по мере возможности исполню их. Ты молодец, что стараешься хорошо учиться. В ряде случаев это может пригодиться. Правда, не всегда. Главное, это научиться быть здоровой. Ты пишешь, что у тебя болит спина. Может, просто носишь тяжелый ранец все больше на одном плече? А как ты сидишь за партой? А пишешь как? Следи за осанкой, не читай лежа. Иногда спина болит, когда накатывает хандра или уныние. Держись бодрее, ты ведь хороший человек. Выброси из головы беспокойство. Тебя все любят."

И подпись "Дед Мороз".

Он, оказывается, существует.

Зима. Подоконник пуст. Свободен от живого. Краска кое-где превратилась в завитки, кое-где ободралась совсем, обнажив деревянное нутро. Теперь он пристанище для следов и свидетелей моего существования: старых жвачек, пятен от пролитого чая и засечек, отсчитывающих дни "до". Окно я больше не заклеиваю — пусть свищет из всех дыр.

Весна. Лето. Осень. Зима. Бывает, открою окно настежь и жадно дышу: морозом, дымом, ненавистью. Душусь обидами. Свешу вниз голову, плюю и плачу. Роняю волосы и

надежды. Украшаю руки рисунками, обнуляю брови, стригу волосы абы-как и никак, ну никак, не могу смириться. И снова лезу в форточку, как на плаху, дышу часто и хрипло.

Весна. Лето. Осень. Зима. Дошла до дверцы... деревянной церквушки на холмике между многоэтажками. Дорожка к ней заботливо расчищена от снега. Спрашиваю у прихожанки о смысле смерти. Она на возраст мой с укором кивает, с покорностью — на сведущестъ Господа ее. Говорит мягко, как мама, и безапелляционно, как ведущий новостей. Приступ кашля волочет меня к выходу. Съезжаю с горочки на куске забытого кем-то картона — хочется быстрее покончить с нытьем в легких. Быстрее в сугроб.

Весна. Лето. Осень. Окно вымыто и распахнуто. На столе порядок. Стою на подоконнике, держусь за карниз. Одеюсь попримечнее: шерстяные лосины, шуршащая танцевальная юбка, полосатый свитер с чужого плеча. Босая. Ноги стынют, руки млеют, мамы нет, Бога, видимо, тоже. Один шаг, и я среди сдохших фиалок. В мокрой, припорошенной пеплом земле.

...секунда, и черное крыло толкает меня в озябшую комнату. Еще одна — и я падаю навзничь на продрогший пол. Минута — что есть сил цепляюсь за кровать, радиатор, подоконник. Смотрю вниз. Черное крыло распласталось на асфальте, точно кто-то обернул туда бочку с гудроном. Оно лежит неподвижно между дворовой клумбой и бетонной стеной дома. Я не вижу деталей: слезы текут ручьями, поливая, заливая, захлестывая. И я тону, разрастаясь до размеров себя самой.

Зима. ...

Весна. Лето. Осень. И опять зима. Не стоит аплодисментов — всего-навсего перелом ребра. Теперь я в школу только ручку и тетрадки в папочке ношу — берегу спину. Да и поздравлять-то не с чем — о жизни я по-прежнему ничего не знаю. Впрочем, везет мне сейчас гораздо чаще, и на подоконнике снова цветы. Ну и что, что самые неприхотливые и не цветут. И не важно, что в дешевых пластиковых вазонах. Зато живые. И я вместе с ними на подоконнике жизни, пожалуй, задержусь.

ФИ (ориентировочно с 8 лет)

Александра Хоменок

lawsa@yandex.by

Имя должно приносить пользу. А если наоборот, значит это не имя, а наказание. И всегда от родителей. Что это за привычка такая — детей в честь отцов называть? И прикрываться сан санычами и владимирами владимировичами.

— Посмотри, — говорят потом эти палачи моего детства, — какими они людьми выросли. У них всё хорошо. В истории много таких примеров.

А я взял и заглянул в историю. Но, видимо, в какую-то другую. Потому что понял — я не одинок в своём возмущении. Например, вычитал я про Люцию Лучшую. Её до пятнадцати лет кто как называл: кто Людка, кто Люська, кто Люлька. Пока она не решила собой заняться и Люцией стать. На классном часу в начале второй четверти девятого класса она всех предупредила:

— За Люсю и производные перестану во всём участвовать. *Люция* я.

И все сразу поняли Люцию и приняли её новое имя. Потому что кроме неё аттестат с отличием некому было давать, как и новогодний огонёк вести. Да и стенгазету об ООН для проверки из исполкома только Люция могла красиво нарисовать. Её талант и сельская местность сделали своё дело.

Фамилию она потом тоже привела в соответствие со своим мироощущением. И паспортный стол её тоже понял. Теперь Люция Лучшая пишет книги и ведёт телепередачи про выживание в экстремальных условиях.

И только старенький папа её Люсенькой называет. Но она ему эту мелочь прощает — ведь в детстве он её вообще Жозефиной называл. Так хотел для неё императорской жизни.

— А меня за что Лёшей наказали? — спрашиваю я по очереди у всей семьи.

— Потому что дедушка твой Алексей, — предсказуемо отвечает бабушка. — И папа Алёша.

— «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» — стихотворно-грустно Пушкиным отвечает дед.

— Лёшенька, ты нашим защитником будешь, поэтому так и назвали, — говорит мама и делает брови уютным домиком.

И только папа понимает мою боль:

— Вырастешь — поменяешь.

— Вечно ты со своими изменениями.., муж, — опуская папино имя вступает мама.
— Хорошее, красивое имя.

Ни один ответ меня не утешает. А тут ещё и фамилия. С ней у меня тоже не ахти. Эскимосов. Как её только не коверкают. В школе и Кимом, и Морсом зовут. Ладно, если бы так, а то лепят такую рифму или историю, что стыдно на свою фамилию на уроках откликаться.

— Мой предок, между прочим, целый ледник открыл, — признался я однажды классу.

— Так-так, — заинтересовалась заменявшая у нас Ванессаванна. — И где этот ледник находится?

Класс рассмеялся.

И не зря, потому что ледника, действительно, с тех пор и след простыл.

— Ученый Эскимосов открыл ледник для жителей деревни Туба за полярным кругом. Они его растапливали и воду брали. Благодаря этому и выживали. И до сих пор живут.

— Выпили целый ледник, получается, — с последней парты уточнил Паша Вольский (это ж надо, как ему с фамилией повезло!). — И даже не простудились?

Класс снова взорвался.

— Получается, что ученый Эскимосов их от гибели спас. А я его фамилию ношу. Значит и я немного герой.

А про себя подумал:

«В топку бы такую ношу».

— Видите, дети, — взяла слово Ванессаванна, — как важно знать и сохранять историю своей фамилии. И беречь её, и уважать.

Я возражать не стал. И поплелся на свое место, так и не заслужив уважения Вольского.

На парте меня уже ждала записка со стишком:

«Эскимос в упряжке быстрой

Ехал тундрой серебристой».

И дальше прозой:

«Нормальная у тебя фамилия. И имя. Только смешные. Хи-хи».

Оказывается, и мои ФИ какую-то пользу могут приносить. Ведь смех — как глоток воды — продляет жизнь.

Дома я представил себе жителей севера, растапливающих лёд ученого Эскимосова. Они брали вёдра и прочие ёмкости и шли по сугробам три километра. А потом в своих юртах смотрели на огонь и грели руки о горячие кружки. И вспоминали о человеке, фамилию которого толком не могли выговорить.

А рядом с ними была Люция. Она спрашивала их имена и, кивая в ответ, пила обжигающий чай.

«Вырастешь — поменяешь», — послышалось вдруг ледяное эхо.

Я знал, что это сон, потому что тоже был там. Я жал всем руки, а потом прикладывал свою к груди и говорил:

— Алексей Алексеевич Эскимосов.

— О-о-о, — отвечали тубальцы хором.

Они знали моё имя. Оно было для них самой жизнью.